



ЮЛИЯ
КРИСТЕВА

СИЛЫ УЖАСА

ЭССЕ ОБ ОТВРАЩЕНИИ

Сила мысли

Юлия Кристева

Силы ужаса. Эссе об отвращении

«Алисторус»

2026

УДК 616.89-008.441
ББК 88.283

Кристева Ю.

Силы ужаса. Эссе об отвращении / Ю. Кристева — «Алисторус»,
2026 — (Сила мысли)

ISBN 978-5-00269-438-9

Юлия Кристева – одна из важнейших мыслительниц современной Франции, стоящая на одном уровне с Фуко, Делёзом, Гваттари, Лиотаром. В этой книге Кристева разбирает понятие ужасного в мировой культуре и истории. Она находит его истоки в хтоническом, в культах матриархальных божеств, в поклонении силам Земли. В поле зрения Кристевой как классические мифы, так и современная массовая культура. Важнейшим источником для нее являются книги Луи-Фердинанда Селина. Книга переиздается на русском языке впервые за более чем 20 лет. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 616.89-008.441

ББК 88.283

ISBN 978-5-00269-438-9

© Кристева Ю., 2026

© Алисторус, 2026

Содержание

На подступах к отвращению	6
Ни субъекта, ни объекта	6
Непотребное	7
Отвращение к себе	9
По ту сторону бессознательного	11
Изгнанник, говорящий: «Где?»	12
Время: забвение и гром	13
Наслаждение и аффект	14
На пределе первовытеснения	15
Предпосылки знака, дублирование возвышенного	16
До начала: разделение	17
«Хора», вместилище нарциссизма	18
Перверсивное или художественное	20
Каково отвращение – такова и святость	21
Отвратительное пишет себя вне священного	22
Достоевский	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Юлия Крестева

Силы ужаса. Эссе об отвращении

© Крестева Ю., 2026

© Костикова А. А., перевод, 2026

© ООО «Издательство Родина», 2026

На подступах к отвращению

Нет среди живых существ такого, на котором не оставила свой след Бесконечность;

Нет среди самых ничтожных и отвратительных существ такого, на который бы не падал луч Света,

Посланного свыше, то нежного, то сурового.

Виктор Гюго, Легенда веков

Ни субъекта, ни объекта

В отвращении есть что-то от неудержимого и мрачного бунта человека против того, что пугает его, против того, что угрожает ему извне или изнутри, по ту сторону возможного, приемлемого, мыслимого вообще. Оно так близко и совершенно непостижимо. Оно настойчиво будит, беспокоит, будоражит желание. Но желание не соблазняется. В испуге отворачивается. С отвращением отказывается. От стыда – спасается в абсолютном, и гордится им, и дорожит им. Но в то же самое время это движение, резкое и спасительное, притягивается к этому иному, столь же сладкому, сколь и запретному. Без передышек, это движение, словно движение забывшего все законы бумеранга, – притягивается и отталкивается одновременно и буквально выводит из себя.

Когда охвачен отвращением, в котором, как мне кажется, переплетены аффекты и мысли, уже не приходится говорить о каком бы то ни было определенном *объекте*. Отвратительное – не объект, который я называю или воображаю, когда он противопоставлен мне. Оно также и не объект игры, в котором «а малое» означало бы бесконечно ускользящее от непрерывного преследования желания. Отвратительное не то, что дало бы мне возможность опереться на кого-то или на что-то иное и быть свободным и независимым. От объекта в отвратительном – лишь одно свойство – противостоять *Я*. Но объект, в своем противостоянии мне, уравнивает меня на тонкой нити, направляющей к смыслу, отождествляет меня с самим собой, примиряя с бесконечностью и неопределенностью. Отвратительное, или *абъект*, наоборот, в своей радикальной отброшенности, в исключенности своей из числа объектов, своей исключительностью, тянет меня к обрыву смысла. Оно решительно изгнано некоторым «я», которое постепенно исчезло в своем хозяине, Сверх-Я. Отвратительное вовне, оно вне единства, правила игры которого оно, кажется, и не признает. Тем не менее даже изолированное, отвратительное не оставляет в покое своего хозяина. Не показываясь ему, отвратительное доводит его до крика, до конвульсий. И если у каждого Я – свой объект, то у каждого Сверх-Я – свое отвратительное. Не со скуки и не напоказ выставлено это отторжение, и не противоречивостью желания терзаются тела, раздираются ночи и путаются рассуждения. Скорее это внезапная боль, к которой «я» приспособляется. Она возвышенна и разрушительна, так как «я» переадресует эту боль отцу, переложив ее по-иному (перверсия): я терплю эту боль, так как я воображаю, что таково желание другого. Грубое и резкое вторжение чужеродного, которое могло бы быть мне близким в какой-то забытой и непроницаемой для меня теперь жизни, теперь мучает и неотступно преследует меня как совершенно чуждое, отдельное и мерзкое. Это не я. Это не оно. Но это не значит, что ничего нет. Есть «нечто», которое я никак не могу признать в качестве чего-то определенного. Эта тяжесть бессмыслицы, в которой все весомо и значимо, вот-вот раздавит меня. Это на границе несуществования и галлюцинации, но и реальности, которая, если я ее признаю, уничтожит меня. Отвратительное и отвращение – то ограждение, что удерживает меня на краю. Опоры моей культуры.

Непотребное

Отвращение к еде, к грязи, к отбросам, к мусору. Меня защищают спазмы и рвота. Отторжение и приступ тошноты отстраняют и отгораживают меня от грязи, клоаки, нечистот. И позорно пойти на компромисс, на какое-то соглашение, на предательство. К нему меня подталкивает, а затем отделяет непреодолимый рвотный позыв.

Пищевое отвращение, навверное, самая простая и архаичная форма отвращения. Когда пенка – эта кожица на поверхности молока, беззащитная, тонкая, как папиросная бумага, жалкая, как обрезки ногтей, – появляется перед глазами или прикасается к губам, спазм в глотке и еще ниже, в желудке, животе, во всех внутренностях, корчит в судорогах все тело, выдавливает из него слезы и желчь, заставляет колотиться сердце и холодеть лоб и руки. В глазах темно, кружится голова, и рвота, вызванная этими молочными пенками, сгибает меня пополам и – отделяет от матери, от отца, которые мне их впихнули. Пенки – часть, знак их желания. Именно этого-то «я» и не хочет, и «я» не хочет ничего знать, «я» не ассимилирует их, «я» выталкивает их. Но поскольку эта еда – не «другой» для «я» и существует только внутри их желания, я выталкиваю *себя*, я выплевываю *себя*, я испытываю отвращение к *себе* в том же самом движении, в тот же самый момент когда «я» предполагает утвердить *себя*. Эта деталь, может быть незначительная, но которую родители находят, заряжают, поддерживают и навязывают мне, – эта ерунда выворачивает меня наизнанку как перчатку, внутренностями наружу: так, чтобы *они* увидели, что *я* становлюсь другим ценой собственной смерти. В этом процессе, когда «я» становится, я рождаю себя в безудержных рыданиях и рвоте. Немой протест симптома и шумное неистовство конвульсии записаны, разумеется, в символической системе. В нее не хочется, да и невозможно войти, чтобы ответить. Это прежде всего реагирование, реагирование отторжением. Оно – отвращение.

Еще более резко нарушает хрупкое, обманчивое, случайное равновесие самотождественности труп (от латинского *cadere* – падать), то есть то, что отошло безвозвратно, – клоака и смерть. Кровоточащая и гноющаяся рана или запах пота, разложения сами по себе не *означают* смерть. Означенная, например, плоской энцефалограммой, смерть понятна, принята, вызывает соответствующую реакцию. Но нет, таков истинный театр – без ретуши и без маски: отбросы вроде трупа *указывают* мне на то, что именно я постоянно отодвигаю от себя, чтобы жить. Жизнь с трудом переносит эти непотребности, эту грязь, это дерьмо, – жизнь переносит это только под угрозой смерти. Я на грани своего живого состояния. От этих границ начинается мое живое тело. Эти отбросы откидываются для того, чтобы жить, от одной потери до другой, до того момента, пока от меня не останется ничего и мое тело не упадет по ту сторону границы *cadere*, трупом. Если мусор означает другую сторону границы, где меня нет, и позволяет мне существовать, то труп, самый отвратительный из отбросов, – та граница, которая все собой заполонила. Уже не я отторгаю и выталкиваю, а «я» вытолкнуто и отторгнуто. Граница сама стала объектом. Как можно существовать без границ? Это другое, находящееся по ту сторону, которое я представляю себе иначе, чем настоящее, или которое я воображаю себе для того, чтобы иметь возможность в настоящем разговаривать с вами, размышлять о вас, – это другое теперь здесь, брошенное, отторгнутое в «мой» мир. Отторгнутый от мира, таким образом, я *теряю сознание и исчезаю*. В этом действительно и грубо звучащем среди бела дня вызове – брошенном в зале морга, битком набитом непонятно откуда взявшимися подростками, – в этой вещи, которая больше ничего не отграничивает и, следовательно, ничего больше не обозначает, я вижу крушение мира, который стер свои границы: это исчезновение. Труп – увиденный без Бога и вне науки – высшая степень отвращения. Это смерть, попирающая жизнь. Отвратительное. Оно отброшено, но с ним невозможно расстаться и от него невозможно защититься

так, как от объекта. Отвратительное, как воображаемая чужеродность и реальная угроза, сначала интригует нас, а затем поглощает целиком.

Таким образом, вовсе не отсутствие чистоты или здоровья порождает отвратительное, но отвратительное – это то, что взрывает самотождественность, систему, порядок. То, что не признает границ, положений дел, правил. Пробел, двусмысленность, разнородность. Предатель, обманщик, добропорядочный преступник, бесстыдный насильник, считающий себя спасителем убийца... Всякое преступление отвратительно, так как оно свидетельствует о незащитности закона, но умышленное преступление, тайно совершенное убийство, лицемерное мщение – отвратительны вдвойне потому, что они как бы дважды демонстрируют эту незащитность. Тот, кто не принимает мораль, не обязательно отвратителен – можно быть великим в аморальности, и даже в преступлении, которое демонстрирует свое неуважение к власти, – это бунт, освобождение и самоубийство. Отвращение безнравственно, потому что оно подло и подозрительно, оно всегда колеблется и никогда не дает прямого ответа: скрытый террор, улыбочивая ненависть, страсть к телу, которое оно обменивает, вместо того чтобы обнять, должник, который вас продаст, друг, который вас зарежет...

Гора детских ботиночек в темных залах музея на месте Освенцима напоминает что-то уже виденное, например гору игрушек под рождественской елкой. Знаю, смерть в любом случае доберется до каждого. Но когда она смешивается с детством, наукой и всем тем, что в моем мире стремится спасти, отгораживает меня, живого, от смерти, – отвращение к преступлению нацизма становится невыносимо острым.

Отвращение к себе

Отвратительное одновременно созидает и разрушает субъект. Тогда понятно, что оно набирается сил тогда, когда уставший от безуспешных попыток найти себя в чем-то внешнем, выразить себя, субъект находит невозможное в самом себе. Это момент, когда субъект находит, что невозможное – это само его *существо*, обнаруживающее, что оно само и *есть* не что иное, как отвратительное. Благодаря отвращению к себе, высшей форме этого опыта, субъекту открывается, что все объекты опыта основываются на первоначальной *потере*, созидающей его собственное существование. Ничто другое, кроме отвращения к себе, не покажет лучше, что всякое отвращение суть признание *нехватки* как основополагающей для самого существования, смысла, языка, желания. Слово *нехватки* обычно проскальзывает слишком быстро, и сегоднешнему психоанализу удастся схватить лишь более или менее фетишизированный результат, «объект нехватки». Но если вообразить себе (а речь идет именно о воображении, так как вся работа воображения строится как раз на этом) опыт *нехватки* сам по себе, как логически предшествующий существованию и объекту – или существованию объекта, – то понятно, что его единственным означаемым будет отвращение, и прежде всего отвращение к себе. А его означаемым будет... литература. Отвращением к себе мистическое христианство обосновывает добродетель смирения перед Богом, свидетельством чему является святая Елизавета, которая, «несмотря на свой высокий княжеский сан, любила Господа из отвращения к самой себе».

Может быть, для того, кому удастся избежать изощренных ловушек отвращения в опыте, так или иначе связанном с кастрацией, отвращение становится иным испытанием, на этот раз светским.

Отвращение преподносит себя как самый ценный не-объект, свое собственное тело, свое собственное я, к сожалению, потерянные как собственные, – падшие, отвратительные. Как мы увидим, к такому результату нас может привести курс психоаналитического лечения. Муки и радости мазохизма.

Отвращение, принципиально отличное от «беспокойной странности», к тому же и более взрывное, так устанавливает свои отношения, что может не признавать своих близких: ничто ему не родственно, нет даже тени воспоминаний. Я воображаю ребенка, слишком рано потерявшего своих родителей. Он боится быть «совсем одним» и, чтобы спастись, отбрасывает и выплевывает все, что ему дают, все дары, все объекты. У него есть или, точнее, могло бы быть чувство отвратительного. До того как вещи начинают *существовать* для него – то есть до того, как они начинают что-либо значить – он их выталкивает, одним толчком, ограничивая тем самым свою территорию отвратительным. Черт бы его побрал! Замешанная на страхе, все крепче становится стена, отгораживающая его от этого другого мира – выплюнутого, вытолкнутого, отброшенного. Он неустанно пытается очистить себя от того, что он проглотил: вместо материнской любви – пустоту, точнее, то, что идет от бессловесной материнской ненависти к слову отца. Какое успокоение находит он в этом отвращении? Может быть, отца – существующего, но запутавшегося, любящего, но непостоянного, просто выдуманного, но выдуманного. Без этого в малыше не было бы никакого оттенка святости; пустой субъект, он затерялся бы на свалке всегда отвергнутых не-объектов, с помощью которых он пробует, наоборот, спастись, вооружившись отвращением. Ведь он не сумасшедший – тот, посредством кого существует отвратительное. Из того оцепенения, которое охватило его перед неприкасаемым, невозможным, отсутствующим телом матери и отделило его стремления от соответствующих объектов, то есть от их представлений, – отсюда рождается страх – слово с привкусом отвращения. В фобиях нет никакого другого объекта, кроме отвращения. Но само слово «страх» – неуловимый туман, невидимая испарина – только появившись, сразу растворяется как мираж и пропи-

тывает несуществованием, наполняет галлюцинациями и фантомами все слова языка. Дискурс, взяв страх в кавычки, таким образом поддерживается только в бесконечном сопротивлении этому иному. Оно тяжело надвигается и отодвигается. Оно в самых недоступных и интимных глубинах памяти: отвратительное.

По ту сторону бессознательного

Это означает, что есть существования, которые не поддерживают себя *желанием*, поскольку желание всегда направлено на объект. Такие существования основываются на *исключении*. Они ясно отличаются от таких, как неврозы или психозы, которые артикулируют *отрицание* и его разновидности, *трансгрессию*, *отказ* и *отвержение*. Их динамика ставит под вопрос теорию бессознательного, коль скоро последняя основывается на диалектике отрицательности.

Теория бессознательного предполагает, как известно, вытеснение содержания (аффектов и представлений), которые таким образом не проникают в сознание, а становятся предметом модификаций: языковых (ляпсусы и т. п.), телесных (симптомы) или и тех и других вместе (галлюцинации и т. п.). В соответствии с понятием *вытеснения* Фрейд для изучения невроза вводит понятие *отказа*, а для обозначения психоза – понятие *отбрасывания* (*отвержения*). Асимметрия двух вытеснений подчеркивается тем фактом, что отторжение относится к объекту, тогда как отвержение – к желанию как таковому (то, что Лакан, напрямую наследуя Фрейду, определяет как «отвержение Имени Отца»).

Тем не менее перед лицом объекта (отвратительного), а точнее, фобии и расщепления Я (к этому мы еще вернемся), можно задаться вопросом, имеют ли какую-нибудь силу все эти рассуждения (заимствованные Фрейдом у философии и психологии) об отрицательности, свойственной бессознательному. «Бессознательные» составляющие предстают здесь *исключенными*, но довольно странным образом: недостаточно радикально, чтобы обосновать неоспоримое различие субъекта/объекта, но тем не менее достаточно четкое, чтобы иметь *позицию* для защиты, отказа, а также и для сублимационной переработки. Как если бы фундаментальное противоположение было бы здесь между Я и Другим или, еще более архаично – между Внутри и Снаружи! Как если бы это противоположение содержало бы в себе выведенное из неврозов противоположение Сознательного и Бессознательного.

Как следствие двойственного противопоставления Я – Другой, Внутри – Снаружи – противопоставления смелого, но хрупкого, жесткого, но неустойчивого – бессознательные «обычно» содержания у невротиков становятся составляющими или даже сознательными в «пограничных» рассуждениях и поступках (*borderlines*). Эти содержания нередко открыто проявляются в символических практических действиях, однако без того, чтобы интегрироваться в сознание здравого смысла данных субъектов. Эти субъекты и их рассуждения являются благодатной почвой скорее для сублимационного дискурса («эстетического», «мистического» и т. п.), чем для научного или рационалистского, поскольку благодаря им противопоставление сознательное – бессознательное становится неуместным.

Изгнанник, говорящий: «Где?»

Тот, благодаря которому существует отвратительное, таким образом, представляет собой *заброшенного*, который располагается, *отделяется*, помещается и, следовательно, *блуждает* вместо того, чтобы узнавать себя, желать, принадлежать или отказываться. Он – заложник ситуации в определенном смысле и не без смеха, так как смех уже определенным образом помещает или перемещает отвратительное. Он – раздвоенный поневоле, немного манихеец – разделяет, исключает и, если непосредственно не говорит о желании знать о своих отвращениях, вовсе не игнорирует их. Он однако часто относит к ним самого себя, бросая тем самым внутрь себя скальпель, который осуществляет его расчленение.

Вместо того чтобы задаваться вопросом о своей сущности, он интересуется своим местом: он спрашивает себя скорее «Где я?», чем «Кто я?». Так как пространство, которое занимает заброшенное/заброшенного, исключенное/исключенного, никогда не является *единственным*, ни *гомогенным*, ни *обобщаемым*, но принципиально делимым, свертываемым и взрывным. Строитель территорий, языков, произведений, *заброшенный* безостановочно изменяет свою вселенную, подвижные границы которой – подвижные, поскольку они определяются отвратительным, то есть не-объектом – постоянно ставят под угрозу его основательность и заставляют его все начинать сначала. Неутомимый созидатель, заброшенный на самом деле – *заблудившийся*. Путешественник в бесконечно ускользающей ночи. Свойственные ему чувства опасности и потери связаны с тем псевдообъектом, который его притягивает и от которого он не может отказаться даже в тот самый момент, когда ему наконец удастся отмежеваться от него. И чем больше он блуждает, тем ближе он к спасению.

Время: забвение и гром

Именно из этого блуждания по исключенному пространству он и черпает наслаждение. Для него отвратительное, от которого он без конца пытается отделиться, – в конечном счете некая *земля забвения*, воспоминания о которой постоянно возвращаются к нему. В стертом времени отвратительное должно было быть полюсом притяжения вожделения. Но тут прах забвения становится завесой и отражает неприязнь и отторжение. Чистое (в смысле включенного и включающего постороннее в свое собственное тело) становится грязным, искомое обращивается изгнанным, очарование – охаиванием. Тогда время забвения внезапно возникает и концентрирует в ослепительной вспышке разрядку, подобную грому. Будь она мыслью, это было бы соединением двух противоположных понятий. Время отвращения носит двойственный характер: время забвения и грома, завуалированной бесконечности и мгновения, когда вдруг вспыхивает откровение.

Наслаждение и аффект

В целом, наслаждение. Ибо заблудившийся воспринимает себя как равного некоторому Третьему. Он убеждает себя в истинности суждений последнего, присваивает его силу, чтобы судить самому, опирается на его закон, чтобы забыть или разорвать покрывало забвения и чтобы выстроить свой объект недействительным. Выброшенным. Сброшенным Другим. Если угодно, он – трехчастная структура, свод которой поддерживается этим Другим, но «структура», выходящая за собственные границы, – топология катастрофы. Поскольку, став *alter ego*, Другой уже больше не держит в руках все три вершины треугольника, где сходится субъективная гомогенность, и бросает объект в отвратительную реальность, доступную лишь через наслаждение. В этом смысле только наслаждение дает возможность для существования отвратительного как такового. Не зная его, не желая его, мы наслаждаемся им. Жестоко и с болью. Это страсть. И отвратительное не содержит ничего от объективного или даже от объекта. Как в наслаждении, когда объект – начало желания – рассыпается вместе с расколотым зеркалом, в котором Я уступает свое изображение, для того чтобы отразиться в Другом. Он оказывается лишь границей, отталкивающим даром – Другой, ставший *alter ego*, устанавливает эту границу, чтобы «я» не растворилось в нем полностью и не исчезло, а нашло бы свое жалкое существование в самом этом возвышенном отчуждении. Это наслаждение, в которое субъект, таким образом, погружается и в котором однако не идет ко дну благодаря Другому, который превращает наслаждение в нечто отталкивающее. Тем самым становится понятным, почему столько жертв отвратительного очарованы им или по крайней мере покорны и послушны ему.

Отвращение, будучи, безусловно, границей, – в первую очередь двусмысленность. Прежде всего потому, что отвращение, отмечая, тем не менее не отделяет окончательно субъект от того, что ему угрожает. Напротив, оно подчеркивает постоянство этой опасности. Но также и потому, что само по себе отвращение представляет собой смешение суждения и аффекта, осуждения и душеизлияния, знаков и импульсов. От архаизма дообъектных отношений, от незапамятного насилия, с которым одно тело отделяется от другого, чтобы существовать – отвращение сохраняет в себе эту мглу, где теряются контуры означаемого и где проявляется лишь неуловимый аффект. Разумеется, если я аффицирован тем, что не представляется мне как определенная вещь, то это означает, что управляют мной и обуславливают меня законы, отношения и структуры самого сознания. Приказ, взгляд, голос, жест – которые являют собой закон для моего обмятого страхом тела – составляют и провоцируют аффект и пока еще не являются знаком. Я тщетно отдаю этот приказ, чтобы исключить его из того, что для меня больше не будет освоенным миром. Очевидно, *я есть*, но лишь *похожий* на кого-то другого: логика мимезиса сопровождает появление меня самого, объектов и знаков. Но когда *я ищу* (себя), *теряю(сь)* или *наслаждаюсь*, в этом случае мое «я» *гетерогенно*. Эта двусмысленность, вызывающая стеснение, недомогание, головную боль, ограничивает неким бунтарским *противосилием* пространство, и там появляются знаки и объекты. Закрученный таким образом, переплетенный, амбивалентный гетерогенный поток отделяет территорию, которую я могу назвать своей, поскольку Другой, поселившийся во мне как *alter ego*, с отвращением указывает ее мне.

Это опять-таки подтверждает, что гетерогенный поток, отделяющий отвратительное и воспроизводящий отвращение, уже существует в человеческом высокоразвитом животном. Я испытываю отвращение только в том случае, если Другой находится вместо и на месте того, кто будет «я». Это не тот другой, с которым я себя идентифицирую или который слился с моим телесным, а Другой, который предшествует мне и владеет мной и тем самым осуществляет меня. Владение, предшествующее моему появлению: сущность символического, которое сможет или не сможет воплощать отец. Означивание – неотъемлемое свойство человеческого тела.

На пределе первовытеснения

Если самым фактом существования этого Другого пространство ограничивает себя, отделяя отвратительное от того, что будет субъектом и его объектами, то из этого следует, что так называемое «первоначальное» вытеснение происходит до возникновения Я, его объектов и его представлений. Они, в свою очередь, становятся участниками «вторичного» вытеснения. Поскольку они появляются только *a posteriori*, уже на странном основании-предупреждении, то их возвращение в виде фобий, неврозов навязчивых состояний, психозов, а как правило, и более разнообразно – в виде *отвращения* – обозначает нам пределы человеческого мира.

Об этом пределе, и в предельном случае, можно было бы сказать, что не существует бессознательного, образованного выстроенными в логическую цепочку представлениями и (связанными с ними или нет) аффектами. Напротив, здесь сознание не использует свои права, чтобы превратить в означающие хрупкие, еще не установившиеся разграничения территорий, где «я», находясь в стадии формирования, без конца заблуждается. Мы не находимся больше в тени бессознательного, мы – на этом пределе первовытеснения, которое, тем не менее, нашло неотъемлемо телесную и уже значимую метку, симптом и знак: отторжение, омерзение, отвращение. Объект и знак – в состоянии брожения. Оно происходит не от желания, а от нетерпимого означивания. Они балансируют между бессмысленностью или невозможностью реального. Но так или иначе, вопреки «я» (которого не существует) представляются через отвращение.

Предпосылки знака, дублирование возвышенного

Остановимся на этом моменте. Если отвратительное уже представляет собой начальную стадию знака для неobjекта, на грани первовытеснения, становится понятным, что оно соседствует с одной стороны с соматическим симптомом, с другой – с сублимацией. *Симптом*: язык, который уже не слышат те, кто прислушивается к голосу бессознательного, поскольку его предмет оказывается заблудившимся за пределами желания, – язык становится отступником, структурирует в теле инородное тело, чудовище, туберкулезную и раковую опухоль. *Сублимация*, напротив, не что иное, как возможность назвать предназначенное, предobjектное, которые оказываются на деле трансназванием, трансobjектом. В симптоме отвратительное заполняет меня, я становлюсь отвратительным. При помощи сублимации я удерживаю его. Отвратительное выткано возвышенным. Это не одно и то же, но один и тот же субъект и один и тот же дискурс осуществляют и то, и другое.

Ведь возвышенное тоже не имеет объекта. Когда меня очаровывает звездное небо, подобное морской глубине или витражу фиолетовой мозаики, то это такое собрание смыслов, цветов, слов, ласк, то это прикосновения, запахи, вздохи, ритмы, – все это возникает, обволакивает меня, поднимает и уносит меня прочь от вещей, которые я вижу, слышу или о которых думаю. Возвышенный «объект» растворяется в переходах бездонной памяти. Именно память переносит этот объект – от определенности к определенности, от воспоминания к воспоминанию, от увлечения к увлечению – на ослепительно сияющую вершину, где я теряю себя, чтобы начать существовать. Как только я схватываю ее, как только я называю ее, возвышенное вызывает – и всегда уже вызывало – поток переживаний и слов, наполняющих память до бесконечности. Я забываю тогда точку начала и обнаруживаю себя в иной вселенной, оторванной от той, где есть «я»: упоение и утрата. Не от переживаний и слов, но всегда вместе со словами и переживаниями и посредством них – возвышенное есть то, что *ко всему прочему* наполняет нас достоинством, доводит нас до исступления и заставляет нас быть одновременно *здесь*, брошенными, и *там*, другими и яркими. Отчужденность, невозможность слияния, упущенная целостность, радость: очарование.

До начала: разделение

Отвратительное может тогда проявиться как самая *хрупкая* (с точки зрения синхронии), самая *архаичная* (с точки зрения диахронии) сублимация еще не отделенного от самих влечений «объекта». Отвратительное – тот псевдообъект, который конституируется *до*, но появляется лишь в разрывах вторичного вытеснения. Таким образом, *отвратительное* – «объект» *первовытеснения*.

Но что такое – первовытеснение? Скажем так: это способность говорящего существа, то есть существа, всегда населенного Другим, разделять, отбрасывать, повторять. Причем не конституируя (еще или уже) это разделение, это различие, этот субъект/объект. Почему? Может быть, из-за материнской тревоги, не способной раскрыться в соответствующем символическом.

Отвратительное противостоит нам, с одной стороны, в те переходные периоды человеческой истории, когда человек блуждает по территории животного. Так, именно отвращением первобытные общества обозначали территорию своей культуры, чтобы отделить ее от угрожающего животного или звероподобного мира, который представляется как убийство или половой акт.

Отвратительное противостоит нам, с другой стороны, и на этот раз в индивидуальной археологии – это наши самые примитивные попытки, благодаря автономии языка, отделить себя от материнской целостности – даже прежде чем начать экзистировать вне ее. Отделение резкое и неуклюжее, его всегда подстерегает опасность вновь попасть в зависимость от одновременно успокаивающей и удушающей власти. То, что матери трудно признать символическую инстанцию (или быть признанной последней), – то есть, если сказать иначе, ее проблемы восприятия фаллоса, представленного ее отцом или мужем, – разумеется, по определению не может способствовать будущему субъекту покинуть его естественное убежище. Если ребенок и может быть для матери знаком для ее собственной самоидентификации, то нет никаких оснований для того, чтобы она, в свою очередь, стала для него проводником его собственной автономизации и самоидентификации. В этой ситуации тела к телу лишь символический свет третьей стороны, обычно отца, может служить будущему субъекту, если, конечно, он обладает сильными инстинктами для продолжения оборонительной войны своего тела с тем, что исходит от матери, и что станет отвратительным. Отталкивающим, отторгающим; отталкивающим самого себя, отторгающим самого себя. Отвращающим.

В ходе этой формирующей войны человеческое существо благодаря миметизму становится гомологичным другому, для того чтобы стать самим собой. Однако миметизм в конечном счете и логически, и хронологически вторичен. «Я» не существует вообще до того, как «я» существует похожее на, а лишь разделяет, отторгает, отвращает. Отвращение в этом широком понимании субъективной диахронии – предварительное условие нарциссизма. Отвращение сосуществует с последним и непрерывно ставит под сомнение его состоятельность. Более или менее складная картина, где «я» отражается или признает самого себя, строится на отвращении. Отвращение раскалывает ее, когда сдается всегда стоящее на страже вытеснение.

«Хора», вместилище нарциссизма

Обратимся к этой апории Фрейда – так называемому первовытеснению. Любопытное первоначало, в котором то, что вытесняется, на деле не фиксируется, а то, что вытесняет, всегда берет силу и свой авторитет от того, что кажется вторичным: языка. Мы говорим здесь не об изначальной природе функции символического, а о ее неустойчивости там, где она наиболее значима, – в запрете на материнское тело (защита против аутоэротизма и табу на инцест). Здесь, конституируя странное пространство, которое мы вслед за Платоном (Тимей, 48–53) назовем вместилищем, или «агорой», властвует влечение.

Во благо или против меня, во имя жизни или смерти – влечения существуют для того, чтобы, конституируя «то, что еще не я» и «объект», соотнести их между собой. Это движение, предполагающее дихотомию (внутри – снаружи, не-я – я) и повторение тем не менее оказывается центростремительным: оно стремится поставить Я в центр некой солнечной системы объектов. Возвращаясь, движение влечений становится в конце концов центробежным, цепляясь при этом за Другого и представляясь ему как знак, чтобы произвести впечатление. Это то, что, собственно говоря, выходит за пределы.

Но начиная с этого момента – когда я признаю свое изображение как знак, и я теряю все свои краски, чтобы означать себя, – возникает иной порядок. Знак вытесняет *хору* и ее вечное возвращение. Единственным свидетелем этого «первородного» сражения останется лишь *желание*. Но желание экспатрирует Я к *другому* субъекту и уже не воспринимает требования Я как нарциссические. Нарциссизм возникает как регрессия отступления от другого, возвращение в убежище самосозерцания, консервативности, самодостаточности. На деле, такой нарциссизм никогда не бывает похож на незамутненное отражение греческого бога в спокойной воде. Конфликты влечений будоражат ее на глубине, смущают ее поверхность и вызывают все, что в данной системе знаков относится к отвращению, не смешиваясь с ним.

Отвращение, таким образом, – что-то наподобие *нарциссического криза*: оно свидетельствует об эфемерности того состояния, которое из бог знает почему возникшей осуждающей зависти назвали «нарциссизмом»; более того, отвращение распространяет на нарциссизм (на его предмет и на понятие) свой характер «видимости».

Однако достаточно, чтобы запрет, это может быть сверх-Я, перечеркнул желание, направленное на другого, или этот другой, как этого требует его положение, остался неудовлетворен, – для того чтобы желание и его означающие вновь возвратились к «исходному», смущая тем самым воды Нарцисса. В этот самый момент нарциссического смущения (состояние вообще-то постоянное для говорящего человека при условии, что он слышит свою речь) вторичное вытеснение, вооруженное символическими средствами, стремится использовать первовытеснение к собственной выгоде, тем самым открывая его существование. Архаичный порядок вновь является на свет, означает, вербализуется. Его стратегии (отбрасывающие, разделяющие, повторяюще-отвращающие) находят наконец свое символическое существование, перед которым смолкают все логики символического, суждения, умозаключения, демонстрации, доказательства и т. д. Именно здесь объект перестает быть обусловленным, осмысленным, отчужденным: он предстает... отвратительным.

Нарциссический криз, открывающий истинное лицо отвратительного, вызван двумя причинами, которые кажутся на первый взгляд противоречащими друг другу. Это *чрезмерная строгость Другого*, который отождествляется с Богом и Законом. И *несостоятельность Другого*, которая становится очевидной в крахе объектов желания. В обоих случаях отвратительное появляется для того, чтобы поддержать «я» в Другом. Отвратительное – насилие скорби по безвозвратно потерянному «объекту». Отвратительное ломает стену, выстроенную вытеснением и его суждениями. Оно отсылает мое Я к тем мерзким границам, от которых Я, чтобы

обрести существование, отделилось, – оно отсылает к не-Я, к влечению, к смерти. Отвращение – воскрешение после смерти (моего Я). Это алхимия, превращающая влечение к смерти во взрыв жизни, в новое значение.

Перверсивное или художественное

Отвратительное и перверсия имеют много точек соприкосновения. Чувство отвращения, которое я испытываю, цепляется за Сверх-Я. Отвратительное – это перверсивное, так как оно не отказывается, но и не берет на себя выполнение запрета, правила или закона; оно их обходит, сбивает с толку; для того чтобы, попользовавшись ими и истрепав их, так и не признать их. Оно убивает во имя жизни: это прогрессивный деспот; оно живет в услужении у смерти: это прирожденный торговец; оно пользуется страданиями другого ради собственного блага: это циник (и психоаналитик); оно устанавливает свою нарциссическую власть, словно бездельник, выставляющий напоказ свои беды: это художник, занимающийся искусством как «бизнесом»... Коррупция – общеизвестная и наиболее очевидная его черта. Лицо социализации отвратительного.

Чтобы этот промежуток перверсии отвращения был зафиксирован и устранен, необходимо нерушимое единение с Запретом, с Законом. Религия, Мораль, Право. Разумеется, всегда более или менее произвольные; неизбежно угнетающие, скорее более, чем менее, и господствующие все с большим трудом.

Современная литература не может их заменить. Она, скорее, списывается с уязвимости перверсивных положений или положений Сверх-Я. Она констатирует невозможность Религии, Морали, Права – их заговора, их абсурдной и необходимой видимости. Она использует их, обходит их и забавляется ими так же, как и перверсия. Однако она дистанцируется от отвратительного. Писатель, очарованный отвратительным, воображает себе его логику, проектирует себя, интроектирует и соответственно извращает язык – и стиль, и содержание. Но с другой стороны, так как чувство отвращения одновременно судья и подручный отвратительного, такое же место занимает и литература, которая противостоит ему. Можно также сказать, что с этой литературой осуществляется переход дихотомических категорий Чистого и Нечистого, Запрета и Греха, Морали и Аморальности.

Для субъекта, прочно обосновавшегося в Сверх-Я, такое письмо – обязательный участник характерного для перверсии промежутка; и из-за этого она в свою очередь провоцирует отвращение. Тем не менее именно смягчение Сверх-Я вызывает к жизни эти тексты. Их написание предполагает возможность вообразить отвратительное, то есть представить себя на его месте и отстраниться лишь игрой слов. Лишь после смерти писателю отвращения, может быть, удастся избежать участи выроodka, подонка или отвратительного. И тогда его или забудут, или отнесут к разряду недостижимого идеала. Смерть становится, таким образом, главным хранителем в нашем воображаемом музее; она защитит нас в той последней инстанции этого отвращения, которое современная литература берется растратить, проговаривая его. Защита сводит счеты с отвращением, но также, вероятно, и с постыдным, возбуждающим смыслом самого факта существования литературы, повышенной до святости, которая оказывается неполноценной в этой своей специализации. Смерть, таким образом, наводит порядок в нашем современном мире. Очищая литературу (и нас от нее), она становится составляющим нашей мирской религиозности.

Каково отвращение – такова и святость

Отвращение сопровождает все религиозные построения и возникает каждый раз во время их крушения, чтобы проявиться по-новому. Можно говорить о множестве конфигураций отвращения, которые соответствуют типам святости.

Отвращение появляется как обряд *позора* и осквернения в язычестве, характерный для матриархата или его пережитков. Оно принимает вид *исключения* субстанции (питающей или сексуальной) и сосуществует со священным, поскольку оно его и устанавливает.

Отвращение продолжает свое существование как *исключение* или табу (пищевое или другое) в монотеистических религиях, в частности в иудаизме, но скатывается к скорее «вторичным» формам, таким как *трансгрессия* (по отношению к Закону) в той же монотеистической системе. Наконец, в христианском грехе оно находит *диалектическую* переработку, интегрируясь в христианское Слово в качестве угрожающей, но всегда названной, всегда схватываемой переменной.

Различные модификации *очищения* от отвратительного – различные формы катарсиса – и составляют историю религий и находят свое завершение в искусстве, которое является катарсисом в высшей степени – по эту и по ту стороны религии. С этой точки зрения художественная практика, укорененная в отвратительном, о котором она говорит и тем самым очищает, проявляется как важнейшая составляющая религиозности. Именно поэтому ей суждено пережить крушение исторических форм религий.

Отвратительное пишет себя вне священного

Отвращение для того, чтобы соответствовать своему библейскому определению, а если углубиться в историю примитивных обществ, то определение позора, находит свои самые архаичные резонансы, с точки зрения культуры внешние по отношению к греху, в западной современности и в связи с кризисом христианства.

В мире, где Другой потерпел крах, эстетическое усилие – спуск к основаниям символического построения – направлено на обозначение неустойчивых границ говорящего субъекта, как можно ближе к его восходу, к этому «первоначалу» без основания, – так называемому первовытеснению. В ходе этой практики, по крайней мере поддерживаемой Другим, «субъект» и «объект» отталкивают друг друга, борются друг с другом, терпят крах и расстаются, неразлучные, запачканные, приговоренные, на пределе воспринимаемого, мыслимого: отвратительные. Именно на этой почве разворачивается великая современная литература: Достоевский, Лотреамон, Пруст, Арто, Кафка, Селин...

Достоевский

Отвратительное – основной «предмет» «Бесов» для Достоевского: это цель и движущая причина того существования, смысл которого теряется в абсолютной деградации из-за абсолютного отказа от *предела* (морального, социального, религиозного, семейного, индивидуального) как абсолютного, Бога. Отвращение колеблется, таким образом, между *исчезновением всякого смысла* и всякой человечности, сторающих будто в пламени пожара, и *экстазом Я*, потерявшего своего Другого и свои предметы, которое в тот самый момент самоубийства наконец схватывает суть единения с землей обетованной. Отвратителен как Верховенский, так и Кириллов, отвратительно как убийство, так и самоубийство.

«Большой огонь по ночам всегда производит впечатление раздражающее и веселящее; на этом основаны фейерверки; но там огни располагаются по изящным, правильным очертаниям и, при полной своей безопасности, производят впечатление игривое и легкое, как после бокала шампанского. Другое дело настоящий пожар: тут ужас и все же как бы некоторое чувство личной опасности, при известном веселящем впечатлении ночного огня, производят в зрителе (разумеется, не в самом погоревшем обывателе) некоторое сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным разрушительным инстинктам, которые, увы! таятся во всякой душе, даже в душе самого смиренного и семейного титулярного советника... Это мрачное ощущение почти всегда упоительно. “Я, право, не знаю, можно ли смотреть на пожар без некоторого удовольствия?”»

«Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: “Да, это правда, это хорошо”. Это... это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, о – тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд – то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коль цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресении не будут родить, а будут как ангелы Божий. Намек. Ваша жена родит?»

Верховенский отвратителен в том потном и тайном употреблении идеалов, которые с того мгновения, когда Запрет (назовите это Богом) не срабатывает, перестают быть таковыми. Ставрогин, может быть, менее отвратителен, так как его имморализм более художественен, в нем есть смех и отказ, он разменивает себя дешево и цинично, укрепляя тем самым свой собственный нарциссизм, а не силу произвола и истребления. Можно быть циником, не будучи необратимо отвратительным; отвращение само по себе провоцируется всегда тем, что пытается ладить с попорченной властью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.